

Александр Иванович Куприн

Черный туман



Александр Иванович Куприн

Черный туман

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173448*

*Олеся: Эксмо-Пресс; Москва; 2006
ISBN 5-04-007984-2, 5-699-13818-8*

Аннотация

«Помню отлично, как он приехал в первый раз в Петербург с своего ленивого, жаркого, чувственного юга. Так от него и веяло черноземной силой, сухим и знойным запахом ковыля, простой поэзией тихих зорь, гаснущих за деревьями вишневых садиков. Казалось, что конца не будет его неистощимому степному здоровью и его свежей, наивной непосредственности...»

Александр Куприн

Черный туман

Петербургский случай

Помню отлично, как он приехал в первый раз в Петербург с своего ленивого, жаркого, чувственного юга. Так от него и веяло черноземной силой, сухим и знойным запахом ковыля, простой поэзией тихих зорь, гаснущих за деревьями вишневых садилов. Казалось, что конца не будет его неистощимому степному здоровью и его свежей, наивной непосредственности.

Прямо с поезда вторгся он в меблированные комнаты, где я жил. Это было зимою, в семь часов утра, когда на петербургских улицах еще горят фонари, а усталые клячи влекут по домам спящих ночных извозчиков. Он был неумолим. Он не хотел слушать никаких доводов номерной девушки и говорил зычным голосом на весь коридор:

– Что ты мне будешь рассказывать? Хиба ж я его не знаю? Он же мне больше, чем родной брат. Ну, чего там... показывай, где!..

Мы вместе с ним учились в одной южной гимназии, где он, однако, курса не окончил. Я любил его, правда, не больше, чем родного брата, – это он преувеличил впопыхах, – но все-таки любил искренно и тепло. Однако, хотя я и сразу

узнал его голос с этими гортанными, мягкими «г», с провинциальной широтой диапазона, – я не могу сказать, чтобы в первый момент я особенно сильно обрадовался. Знаете, если человек проваландался целую ночь, по случаю первопутка, за городом и лег в постель около четырех часов утра, да еще лег с не совсем свежей головой, и если еще при этом ему предстоит днем серьезная и срочная работа... Словом, я ругался под своим одеялом и твердо решил, если он войдет, притвориться спящим или мертвым, как жук, которого положили на ладонь.

Не тут-то было. Он ураганом ворвался ко мне в номер, облобызал меня со стремительной радостью, поднял на руках с кровати, как ребенка, еще раз облобызал и принялся тормошить. На него невозможно было сердиться. С мороза от него так вкусно пахло яблоками и еще чем-то здоровым, крепким, усы и борода были мокры, лицо горело свежим румянцем, глаза блестели.

– Ну, ну, чего там валяться, вставай! – кричал он возбужденно. – Вставай, а не то я тебе салазки сейчас загну.

– Послушай, ты, жалкий, несчастный провинциал, – пробовал я его усовестить, – у нас в Петербурге никто не встанет раньше одиннадцати. Приляг на диван, или спроси чаю, или пошли за газетами и читай, но дай мне подремать хоть с полчаса.

Нет, на него ничто не действовало. Он был так начинен рассказами о прошлом и планами на будущее, так перепол-

нен новыми впечатлениями, что, кажется, готов был лопнуть под их напором, не служи я ему в виде спасительного клапана. Во-первых, поклонны: оказывается, все меня до сих пор помнят, любят и с удовольствием читают мои экономические статьи. Я был польщен и делал вид, что не забыл ни одно из этих диковинных имен, всех этих Гузиков, Палабух, Лядушенко, Чернышей и прочих добрых знакомых. Во-вторых, Петербург совершенно ошеломил его:

– Черт его батька знает, какой городище! Что ты думаешь: у вокзала только одни лихачи стоят. Ни одного ваньки!

– Лихачи? – спросил я с сомнением.

– А ей-богу! Я, не разобравши, сел на одного, гляжу, а он на резинах. Ну, думаю, влетел я. Хотел было уже назад лезть, да стыдно стало, тут городской стоит и всех торопит. Хорошо еще, что дешево отделался, всего полтора целковых.

– Гмм... самое большое нужно было платить полтинник, – заметил я.

– Ну, это ты, братец, тоже бре-бре... Чтобы лихачу в такой конец полтинник?.. Ох, и улица же у вас! А народ-то, господи, – точно у нас на пароме. Так и бегут, так и бегут. А на одном мосту, братец, четыре лошади. Ты видел? Здорово! Хорошо, братец, у вас живут!

Он так все время и говорил: у вас и у нас – черточка, общая всем провинциалам. Немало поразили его также и костры, разложенные по случаю сильного холода на перекрестках улиц.

– Это же для чего? – спрашивал он меня с наивным любопытством.

Я ответил совершенно серьезно:

– Это, видишь ли, городская управа отапливает улицы. Для того чтобы в казенных учреждениях выходило меньше дров...

Он сделал круглые глаза и совершенно круглый, глупый рот и от удивления мог произнести только один звук:

– О?!

Но потом опомнился и принялся хохотать – хохотать раскатисто, оглушительно, молодо. Я вынужден был ему напомнить, что все жильцы в номерах еще спят, что перегородки сделаны из папье-маше и что мне не хотелось бы выслушивать от хозяйки замечания.

Пришла Ириша с самоваром. Она искоса поглядывала на Бориса с таким же выражением недоверия и тревоги, как глядела бы на лошадь, которую ввели в комнату. Она была истая петербургская горничная, девушка щепетильная и «без понятий».

В пять часов мы обедали на Невском в огромном и скверном ресторане. Двухсветная зала, румыны, плюшевая мебель, электричество, зеркала, вид монументального метрдотеля, а в особенности зрелище восьмипудовых, величественно-наглых лакеев во фраках, с крутыми усищами на толстых мордах, – все это совершенно ошеломило моего наивного друга. Во все время обеда он сидел растерянный,

неловкий, заплетая ноги за передние ножки стула, и только за кофе сказал со вздохом, медленно качая головой:

– Н-да-а... ресторация... У нас бы не поверили... Прямо капище Ваала и жрецов его. Уж лучше бы ты меня привел куда попроще. А здесь я вижу все одну только аристократию. Наверно, все князья и графы. (Увы, я должен сознаться, что он выговаривал «грахвы», с мягким «г» и с ударением на последнем слоге.)

Но вечером, у меня в номере, он опять оживился. Тут я его спросил в первый раз серьезным и положительным образом, что он, однако, намерен с собою делать дальше. До сих пор мы касались этого вопроса второпях, как-то разбросанно и фантастично.

Он напыжился, точно молодой петушок, и ответил гордо: – Я приехал завоевывать Петербург!

Такие именно слова часто произносят у французских романистов их молодые герои, только что приехавшие в Париж и глядящие на него с высоты какого-нибудь чердака. Я улыбнулся скептически. Он заметил это и стал с особенной горячностью, комичность которой усиливалась его хохлацким говором, убеждать меня, что в его лице даровитый, широкий провинциальный юг побеждает анемичный, бестемпераментный, сухой столичный север. Это неизбежный закон борьбы двух характеров, и исход ее всегда легко предугадать. О, можно привести сколько угодно имен. Министры, писатели, художники, адвокаты. Берегись, дряблый, холод-

ный, бледный, скучный Петербург! Юг идет!

Мне хотелось ему верить, или, вернее, не хотелось его разочаровывать. Мы помечтали вместе. Он достал из корзины бутылку славной домашней сливянки, и мы ее дружно распили.

– А шо (он выговорил вместе «что» – «шо»)? А шо? Делают у вас в Питере такую сливовицу? – спрашивал он прездительно и гордо. – Вот то-то. А ты еще споришь!..

Понемногу он устроился. Я поселил его рядом с собою, в тех же самых мебелированных комнатах, пока в кредит, в чаянии трофеев от будущих побед над дряблым севером. Удивительно, он сразу завоевал общую благосклонность, оттеснив на задний план прежнего фаворита – поэта с рыжими, курчавыми волосами, как у картинного дьякона. Хозяйка (всем известно, что такое петербургская хозяйка мебелированных комнат: полная сорокапятилетняя дама, с завитушками, вроде штопоров, на лбу, всегда в черном платье и затянутая в корсет) – хозяйка часто приглашала его по утрам к себе пить кофе – высокая честь, о которой многие, даже старинные жильцы никогда не смели мечтать. Он за эту любезность рассказывал ей содержание утренних газет и давал ей дельные советы в бесчисленных сутяжнических делах («ведь всякому лестно обидеть бедную вдову!..»). Черт возьми, он как истый хохол, был, при всей своей кажущейся простоте, очень ловким и практичным малым, с быстрой сметкой и с добродушным лукавством. Привыкла к нему и Ирина и да-

же, кажется, поглядывала на него с таким... Впрочем, я не хочу сплетничать. Скажу, однако, что он был очень красив в эту пору: высокий, крепкий, с меланхолическими черными глазами и со смеющимся молодым, красным ртом под темными хохлацкими усами.

Он был более прав, чем я, старый петербургский скептик. Ему повезло. Может быть, это происходило оттого, что вообще человек бодрый и самоуверенный в такой же степени умеет подчинить себе судьбу, в какой степени судьба вертит и швыряет в разные стороны людей растерянных и слабых. А может быть, ему просто помогали те своеобразные черты характера, которые он привез с собою из недр провинциального юга: хитрость, наблюдательность, безмятежный и открытый тон речи, природная склонность к юмору, здоровые нервы, не издерганные столичной сутолокой? Может быть, тут было и то и другое, но во всяком случае я должен был признать, что в его лице юг наглядно и успешно завоевывает север.

Мой приятель быстро, в каких-нибудь три-четыре дня, нашел себе занятия в управлении одной из крупнейших железных дорог и уже через месяц обратил на себя внимание начальства. Ему поручили проверить какие-то там графики движений поездов или что-то в этом роде. Все дело можно было легко окончить в неделю или в две, но Борис почему-то особенно упорно и настойчиво им заинтересовался. Он бегал зачем-то в Публичную библиотеку, таскал к себе на дом

толстые справочники, сплошь наполненные цифрами, делал по вечерам таинственные математические выкладки. Кончилось все это тем, что он представил своему начальству такую схему движения пассажирских и товарных поездов, которая совмещала в себе и простоту, и наглядность, и многие другие практические удобства. Его похвалили и отметили. Через полгода он уже получал полтораста рублей в месяц и заведовал почти самостоятельной службой.

Но, кроме того, он имел постоянные уроки музыки – он был отличный музыкант, писал для газет статьи, и дельные статьи, по железнодорожным вопросам, пел по субботам и воскресеньям в известном церковном хоре, а также иногда и в оперных и в опереточных хорах. Работать он мог поразительно много, но без натуги, без насилия над собой, а как-то естественно-легко, с развальцем, с шуточкой, с наружной ленивой манерой. И, всегда с лукавой усмешечкой, он все к чему-то присматривался и примеривался, и выходило так, как будто бы он только играл с настоящим, разминал свои непочатые силы, но в то же время зорко и терпеливо поджидал своей линии. Для каких-то тайных, далеких, известных только ему одному целей изучал он по самоучителям Туссена и Лангеншейдта французский, немецкий и английский языки. Я слышал иногда, как он за стенкой повторял с ужающим прононсом: «Л'абель бурдон, ла муш воль»¹. Когда я спрашивал, для чего это ему нужно, он отвечал с лукавым

¹ «Пчела жужжит, муха летает» (фр.).

простодушием: «А так. Все равно нема никакого дела».

Он умел веселиться. Где-то на Васильевском острове он отыскал своих земляков, «полтавских хлопцев», которые ходили в вышитых рубашках с ленточками вместо галстуков и в широчайших шароварах, засунутых в сапоги, курили люльки, причем демонстративно сплевывали на пол, через губу, говорили «эге ж» и «хиба» и презирали кацапов с их городской культурой. Я был раза два на их вечеринках. Там пили «горилку», но не здешнюю, а какую-то особенную, привезенную «видтыля»; ели ломтями розовое свиное мясо; ели толстые, огромные колбасы, которые были так велики, что их надо было укладывать на тарелке спиралью в десять или пятнадцать оборотов. Но также там и пели – пели чудесно, с необыкновенной грустью и стройностью. И, как теперь, помню я Бориса, когда, проведя нервно рукой по своим длинным, красивым, волнистым волосам, он начинал запев старинной казацкой песни:

Ой, у поли жито
Копытами сбито...

Голос был у него теплый, нежный, чуть-чуть вибрирующий, и когда я его слышал, то каждый раз у меня что-то щекотало и вздрагивало в груди и хотелось беспричинно плакать.

А потом опять пили горилку и под конец «вдаряли гопа-

ка». Пиджак летел с широких плеч Бориса в угол комнаты, а сам он лихо носился из конца в конец и притопывал «чоботами», и присвистывал, и лукаво поводил черными бровями.

Ой, кто до кого,
А я до Параски,
Бо у меня черт ма штанив,
А в нее запаски...

Он сделался главой этого милого хохлацкого хутора, потерявшегося среди суровых параллельных улиц Петербурга. Было в нем что-то влекущее, чарующее, неотразимое. И все удавалось ему шутя, словно мимоходом. Теперь я уже окончательно верил в его победу над севером, но что-то необъяснимое, что-то тревожное не выходило из моей души, когда я думал о нем.

Началось это весной. Вскоре после Пасхи, которая была в том году поздней, мы поехали с ним однажды на острова. Был ясный, задумчивый, ласковый вечер. Тихие воды рек и каналов мирно дремали в своих берегах, отражая розовый и лиловый свет погасавшего неба. Молодая, сероватая зелень прибрежных ив и черных столетних лип так наивно и так радостно смотрелась в воду. Мы долго молчали. Наконец под обаянием этого прелестного вечера я сказал медленно:

– Как хорошо! За один такой вечер можно влюбиться в Петербург.

Он не ответил. Я поглядел на него украдкой, сбоку. Лицо

его было пасмурно и точно сердито.

– Тебе не нравится? – спросил я.

Борис слабо, с выражением досады, махнул рукой.

– Э, декорация! – произнес он брезгливо. – Все одно, как в опере. Разве же это природа?..

Черные глаза его вдруг приняли странное, мечтательное выражение, и он заговорил тихим, отрывистым, волнующим голосом:

– Теперь вот в Малороссии так настоящая весна. Цветет черемуха, калина... Лягушки кричат по заводям, поют соловьи... Там ночь так уж ночь, – черная, жуткая, с тайной страстью... А дни какие теперь там стоят!.. Какое солнце, какое небо! Что ваша Чухония? Слякоть...

Он отвернулся в сторону и замолчал. Но я понял уже инстинктом, что в сердце моего друга совершается что-то неладное, нездоровое.

И вправду, начиная с этого вечера Борис затосковал и точно опустился. Я уже не слышал за стеной его мелодичного мурлыканья; он уже не влетал ко мне бомбой в комнату по утрам; пропала его обычная разговорчивость. И только когда заходила речь о Малороссии, он оживлялся, глаза его делались мечтательными, прекрасными и жалкими и точно глядели вдаль, за многие сотни верст.

– Поеду я на лето туда! – говорил он решительно. – Какого черта! Хоть отдохну немного от проклятого Питера.

Но поехать ему «туда» так и не удалось. Служба задержала

его. Среди лета мы простились, – обстоятельства гнали меня за границу. Я оставил его грустным, раздраженным, вконец измученным белыми ночами, которые вызывали в нем бессонницу и тоску, доходившую до отчаяния. Он проводил меня на Варшавский вокзал.

Вернулся я обратно в самый разгар отвратительной, мокрой, туманной петербургской осени. О, как памятны мне эти первые печальные, озлобляющие впечатления. Грязные тротуары, мелкий, неперестающий дождик, серое, какое-то ослизлое небо, и на фоне этой картины грубые дворники со своими метлами, обдерганные, запуганные извозчики, женщины в уродливых барашковых калошах, с мокрыми подолами юбок, желчные, сердитые люди с вечным флюсом, кашлем и человеконенавистничеством. Но еще более поразила и огорчила меня перемена, происшедшая с Борисом.

Когда я вошел к нему, он лежал одетый на небубранной постели, заложив под голову руки, и не поднялся при моем появлении.

– Борис, здравствуй! – сказал я, уже что-то предчувствуя, и встретил холодный, отчужденный взгляд.

Потом он, очевидно, решил, что нужно поздороваться, встал, как будто по обязанности поцеловался со мной и опять лег. Больших усилий стоило мне уговорить его пойти пообедать куда-нибудь в ресторан. Дорогой он молчал, шел сутулый, безучастный, точно его вели по веревочке, и всякий вопрос мне приходилось повторять по два раза.

– Послушай, да что это, наконец, с тобой? Подменили тебя, что ли? – говорил я, трогая его за плечо.

Он досадливо отмахнулся.

– Так... надоело все...

Некоторое время мы шли рядом, не разговаривая. Я вспомнил его неубранную, затхлую комнату, беспорядок, сухие куски хлеба на столе, окурки на блюдечках и сказал решительно и с возбуждением:

– Знаешь что, милый друг, – ты, по-моему, просто-напросто болен... да нет, ты не маши руками, а слушай, что я тебе скажу. Эти вещи запускать не следует... деньги-то у тебя есть...

У меня быстро созрел план лечения моего захандрившего друга, немного, правда, устаревший, немного пошлый и, если хотите, немного даже гнусный. Просто-напросто я решил свести его в какое-нибудь место злачное, где поют и танцуют, где люди сами не знают, что делают, но уверены, что веселятся, и этой уверенностью заражают других.

Пообедав где-то, к одиннадцати часам отправились мы в «Аквариум», чтобы создать настроение кутежа. Взял я лиха-ча, и помчал он нас мимо брани встречных извозчиков, мимо облитых грязью пешеходов.

Я поддерживал колеблющуюся, исхудавшую спину Бориса; он по-прежнему упорно молчал и только раз недовольно сказал:

– Куда мы так спешим?

Густая толпа, дым, гам оркестра, голые плечи женщин, подкрашенные глаза, белые пятна столов, красные, оскотинившиеся лица мужчин – весь этот шабаш пьяного веселья подействовал на Бориса совсем не так, как я ожидал. По моей просьбе он пил, но не пьянел, и взгляд его становился все тоскливее. Толстая напудренная женщина в страусовом боа на голой жирной шее подседа к нам на минуту, попробовала заговорить с Борисом, потом испуганно посмотрела на него и молча быстро ушла, и в толпе еще раз оглянулась на наш столик. И мне от этого взгляда сделалось жутко, точно я заразился чем-то смертельным, точно возле нас стоял кто-то черный и молчаливый.

– Выпьем, Борис! – крикнул я, пересиливая шум оркестра и звон посуды.

Сморщившись, как от зубной боли, он сказал что-то немым движением губ, и я угадал фразу:

– Уйдем отсюда...

По моему настоянию, из «Аквариума» мы поехали еще в одно место и вышли из него на рассвете в холодные, синие сумерки раннего петербургского утра. Улица, по которой мы шли, была длинная и узкая, как коридор. От сонных каменных пятиэтажных ящиков веяло холодом ночи. Невыспавшиеся дворники шаркали метлами, передергивали плечами озябшие ночные извозчики и ругались хрипло. Спотыкаясь, навалясь грудью на веревку, серединой улицы везли мальчишки нагруженные платформы. В дверях мясных ла-

вок висели красные, развороченные туши мертвой, отвратительной говядины. Борис шел понуро, потом вдруг схватил меня за руку и крикнул, указывая в конец улицы:

– Вот он... вот...

– Что такое? – спросил я испуганно.

– Видишь... туман.

Пятые этажи тонули во мгле, которая, точно обвисшее брюхо черной змеи, спускалась в коридор улицы и затаилась и замерла, нависнув, как будто приготовилась кого-то схватить...

Борис тряс меня за руку и говорил с глазами, загоревшимися внезапной злобой:

– Понимаешь ты, что это такое? Понимаешь – это город дышит, это не туман, а дыхание этих камней с дырами. Здесь вонючая сырость прачечных, копоть каменного угля, здесь грех людей, их злоба, ненависть, испарения их матрацев, запах пота и гнилых ртов... Будь ты проклят, анафема, зверь, зверь – ненавижу!

Голос Бориса ломался и звенел. Костлявыми кулаками он тряс в воздухе.

– Успокойся, – говорил я, обнимая его за плечи. – Ну, успокойся, – смотри, ты пугаешь людей.

Борис поперхнулся и закашлялся надолго.

– Смотри, – сказал он, корчась от кашля, и показал мне платок, в который плюнул.

И я увидел на белизне платка большое кровавое пятно.

– Это он меня съел... туман.

Молча мы подходили к его квартире.

В апреле, перед Пасхой, я зашел как-то к Борису. День был на редкость теплый. Пахло талым снегом, землей, и солнце светило застенчиво и робко, как улыбается помирившаяся женщина после слез. Он стоял у открытой форточки и нюхал воздух. Когда я вошел, Борис обернулся медленно, и на лице у него было какое-то ровное, умиротворенное, детское выражение.

– Хорошо теперь у нас в Полтавской губернии, – улыбаясь, сказал он вместо приветствия.

И вдруг для меня стало совершенно ясно и понятно, что этот человек умрет скоро, может быть даже в этот же месяц.

– Хорошо! – добавил он раздумчиво и, вдруг оживившись, торопясь, хватая меня за руки, заговорил: – Сашенька, милый мой, отвези меня до дому... отвези, голубчик, ну, что тебе стоит, отвези!

– Да разве я отказываюсь? Конечно, поедем.

И вот перед самой Пасхой мы тронулись в путь. Когда мы отъезжали от Петербурга, был сырой, холодный день, и над городом висел густой и черный туман, тот черный туман, который отравил душу и съел тело моего бедного друга.

Но чем больше подвигались мы на юг, тем возбужденнее и радостнее становился мой Борис. Весна как будто шла нам навстречу. И когда мы впервые увидели белые мазаные ха-

тенки Малороссии, она была уже в полном расцвете. Борис не отрывался от окна. На насыпи синели большие, крупные простые цветы, носящие поэтическое название «сна», и Борис с восторгом рассказывал о том, как при помощи этих цветов у них в Малороссии красят пасхальные яйца.

Дома, у себя, под голубым ласковым небом, под пышными, еще не жаркими лучами солнца, Борис стал быстро оживать, точно он отходил душой от какого-то долгого, цепкого, ледяного кошмара.

Но телом он слабел с каждым днем. Черный туман убил в нем что-то главное, дающее жизнь и желание жизни.

Спустя две недели по приезде он уже не вставал с кровати.

Все время он не сомневался в том, что скоро умрет, и умер мужественно и просто.

Я был у него за день до его смерти. Крепко пожимая своей сухой, горячей, исхудавшей рукой мою руку и улыбаясь ласково и грустно, он говорил:

– Помнишь наш разговор о севере и юге, еще тогда давно, помнишь? Не думай, я от своих слов не отпираюсь. Ну, положим, я не выдержал борьбы, я погиб... Но за мной идут другие – сотни, тысячи других. Ты пойми – они должны одержать победу, они не могут не победить. Потому что там черный туман на улицах и в сердцах и в головах у людей, а мы приходим с ликующего юга, с радостными песнями, с милым ярким солнцем в душе. Друг мой, люди не могут жить без солнца!

Я поглядел на него внимательно. Он только что умылся и причесал гладко назад свои волосы, смочив их водой; они были еще влажны, и это придавало его лицу жалкое, и невинное, и праздничное выражение, за которым всего яснее чувствовалась близость смерти. Помню также, что он все время пристально и как будто с удивлением рассматривал свои ногти и ладони, точно они были чужие.

На другой день меня спешно позвали к нему, но я застал уже не моего друга, а только его тело, умиравшее бессознательно, в быстрой агонии.

Еще рано утром он попросил отворить окно, и оно так и оставалось открытым. В комнату из старого сада лезли ветки белой сирени с ее упругими, свежими, благоухающими цветами. Светило солнце. Как сумасшедшие кричали дрозды...

Борис затихал. Но в самую последнюю минуту он вдруг быстро поднялся и сел на кровати; и в его широко раскрывшихся глазах показался безумный ужас. И когда он опять упал на подушки и, глубоко вздохнув, вытянулся всем телом, точно он хотел потянуться перед крепким длинным сном, — это выражение ужаса еще долго не сходило с его лица.

Что он увидел в эту последнюю минуту? Может быть, его душевным глазам представился тот бездонный, вечный, черный туман, который неизбежно и безжалостно поглощает и людей, и зверей, и травы, и звезды, и целые миры?..

Когда его одевали, я не мог видеть его страшных желтых ног и вышел из комнаты. Но когда я вернулся, он уже лежал

на столе, и таинственная улыбка смерти тихо лежала вокруг его глаз и губ. Окно все еще было открыто. Я отломил ветку сирени – мокрую, тяжелую от белых гроздьев – и положил ее Борису на грудь.

Светило солнце, такое радостное, и нежное, и равнодушное... В саду кричали дрозды... За рекой, на той стороне, звонили к поздней обедне.